

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

“Я ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ...”

К теме финала жизни Пушкина исследователи подходили постоянно и с разных сторон. Дуэльный вариант был рассмотрен Н. Я. Эйдельманом, который не прошёл мимо страшной нервической разгорячённости, владевшей поэтом и толкавшей его на необъяснимые действия в 1836 году. Тогда он настойчиво шёл на столкновения с людьми. Шесть раз за год Пушкин щекотал нервы игрой со смертью. Только в феврале не без труда удалось предотвратить поединки Пушкина с чиновником по особым поручениям в Министерстве иностранных дел С. С. Хлюстиным, с князем Н. Г. Репниным-Волконским, старшим братом декабриста князя Сергея Волконского, внуком по матери фельдмаршала князя Н. В. Репнина, с прозаиком и поэтом графом В. А. Соллогубом. Поводы, по которым он посылал свои вызовы, были столь легковесны, что их можно назвать надуманными.

“Если бы одна из трёх несостоявшихся дуэлей всё же произошла, – резонно рассуждал Эйдельман, – какие бы это имело последствия? Даже при исходе, благоприятном для обоих участников (разошлись, обменявшись выстрелами), эпизод невозможно было бы скрыть от властей; по всей видимости, Пушкина <...> ожидало бы наказание, например, ссылка в деревню. Таким образом, судьба сама бы распорядилась: в любом случае, прежней придворной жизни пришёл бы конец...”

Ставил ли Пушкин тогда чётко перед собой цель выйти на поединок и затем получить по суду отставку и ссылку в деревню? Однозначно признать это трудно. Даже если ответ будет “нет”, подсознательно он всё-таки понимал: дуэль – какой-никакой, но выход, не самый лучший, но способный так или иначе разрубить образовавшиеся жизненные узлы. При этом его мало заботил тот факт, что утрированная чувствительность в вопросах чести в свете и в обществе осуждалась.

Распорядись тогда судьба иначе, и Пушкин избрал бы такой вариант своего поведения и развития событий (а значит, развязка последовала бы зимой 1836 года), и, как справедливо заметил историк и пушкинист В. С. Листов, и с чем нельзя не согласиться, “потом никто, конечно, и не вспомнил бы мелкую подробность того бального сезона – ухаживаний какого-то кавалергарда за светской дамой”. Однако, увы, история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Избранный Пушкиным путь и последовавшие трагические события привели его к последней, состоявшейся дуэли на Чёрной речке.

И хочется разобраться в деталях происшедшего, присущих не нашему времени, а ушедшему в историю. И начать возвращение в те дни хочется с вопроса: с какого дня и часа для Пушкина начался обратный отсчёт времени его жизни?

С момента, когда, покинув кабинет царя в Кремле, Пушкин оказался втянутым в череду нескончаемых неприятностей? Они то грозно разрастались, то затухали, но, увы, не прекращались до самой его смерти. Хотя, казалось бы, не предвещали фатального характера дальнейших событий.

С момента, когда Николай I благоволил разрешить Пушкину сочетаться браком с юной красавицей Натальей Гончаровой? Он тогда и помыслить не мог, чем это для него обернётся.

С момента, когда Поэт почувствовал вдруг навалившееся на него жуткое одиночество: и в личной жизни, и в литературе? А ведь тогда он уже имел несчастье быть публичным человеком. А как заметил сам Пушкин (в записке графу В. А. Соллогубу), “вы знаете, это ещё хуже, чем быть публичной женщиной”.

С момента, когда совокупность бесконечных осложнений последних лет, до определённого времени ещё как-то позволявшая Пушкину оставаться на плаву, под грузом огромного и всё возрастающего денежного долга, который превысил 130 000 рублей, неотвратимо потянула его к трагической гибели? Выплатить такую сумму у Пушкина не было ни малейшей надежды: ни более чем приличное жалованье, ни литературные заработки не позволяли ему этого сделать.

С момента, когда атмосфера унижительных, ненавистных слухов о внимании, которое уделяет Николай I Наталье Николаевне, и о демонстративном ухаживании Дантеса лишила Пушкина покоя?

С момента, когда стала очевидной невозможность спастись от всего этого отъездом в деревню?

Кто-то увидит во всём этом цепь случайностей, кто-то – совокупность неотвратимых сил, которые толкали поэта к гибели. Классический случай, подтверждающий, что правда, как всегда, у каждого своя.

Споры о причинах, которые привели к роковой дуэли, в известной мере совмещены с желанием понять, кто виноват в смерти Александра Пушкина. На этот счёт существует гораздо больше версий, чем могло бы показаться, – слишком неоднозначны все свидетельства, слишком много было слухов и разноречивых рассказов. Очевидцев этой в общем восприятии семейной драмы, приобретшей масштаб национальной трагедии, оказалось предостаточно: начиная от приятелей, друзей, недругов, врачей и заканчивая Бенкендорфом, императором и самой Натальей Николаевной. И это опять тот случай, когда правда у каждого своя.

Безусловно, история гибели великого Поэта настолько запутана, что не всегда удаётся понять, почему и как всё произошло. Однако общую канву событий здравые современники видели и понимали уже тогда. Граф Владимир Александрович Соллогуб, чьё обращение к мемуарам было естественным и даже неизбежным, если вспомнить об автобиографичности его прозы, в “Воспоминаниях” о пережитых днях, в известной мере, представил точку зрения, которая для нас, потомков, представляет наибольшую ценность для понимания последнего года жизни поэта. Отличительная черта его воспоминаний о Пушкине состоит в “проницательности общего взгляда и точности расставленных акцентов”.

И потому несколько слов о самом мемуаристе. Да-да, Владимир Александрович, тот самый граф Соллогуб, кому в 1836 году Пушкин отправил скоропалительный вызов на дуэль. Она не состоялась: между писателями произошло примирение. Посредником при этом выступил П. В. Нащокин. Позже отношения Пушкина с графом стали, как говорят в таких случаях, близкими и доверительными. Насколько? Судите сами. Именно он, обговаривая условия дуэли с секундантом Дантеса д'Аршиаком, приложил усилия, чтобы не допустить поединка. В итоге тогда, 17 ноября, Соллогуб смог предотвратить поединок. Он принял участие в попытках отменить и последнюю дуэль Пушкина, но на сей раз безрезультатно.

Обратившись к его “Воспоминаниям”, можно увидеть, что ноябрьское столкновение Пушкина с Дантесом (с обоими Геккеренами), пусть и более серьёзное среди других, несостоявшихся, дуэлей, виделось не просто современнику, а человеку, находящемуся непосредственно “в теме”, самому недавно получившему вызов от Пушкина, не заслуживающим серьёзного внимания. Серьёзная история стала не в результате появления скандально известного “Диплома Ордена рогоносцев”, который традиционно признаётся и причиной, и одновременно поводом для трагической дуэли. Тогда “Диплом...” сыграл

свою роль для дуэльного вызова Дантеса, но поединок с ним не состоялся – не без участия Соллогуба его смогли предотвратить.

Среди подозреваемых в авторстве “Диплома...” в разное время и разными лицами ещё назывались:

министр просвещения, президент Российской Академии наук граф С. С. Уваров;

жена вице-канцлера графиня М. Д. Нессельроде, давний враг Пушкина, на свадьбе Дантеса с Е. Гончаровой она была посажёной матерью жениха, которому покровительствовала* (ничего неестественного в том не было: дело в том, что Дантес являлся родственником, точнее, свойственником графа Нессельроде. Мать Дантеса Мария-Анна-Луиза была дочерью графа Гацфельдта, родная сестра которого стала супругой графа Франца Нессельроде, принадлежавшего к тому самому роду, что и граф Вильгельм Нессельроде, отец российского министра иностранных дел);

безвестный Дмитрий Карлович Нессельроде, сын вице-канцлера и министра иностранных дел;

голландский дипломат, посланник при императорском дворе в Петербурге, барон Луи-Борхард де Бовервард Геккерен, имевший самые тесные отношения с четой Нессельроде (Д. Ф. Фикельмон записала в дневнике ещё в 1829 году о Геккерене: “...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь (в Петербурге) считают его шпионом г-на Нессельроде”) – тот самый “старик-Геккерен”, “Геккерен-отец”, что “усыновил” Жоржа Дантеса, сделал его Жоржем Геккереном;

Идалия Полетика (урожд. де Обертей), незаконнорожденная дочь графа Г. А. Строганова и Ю. П. Строгановой (урожд. графини д’Ойенгаузен), которой Екатерина, Александра и Наталья Гончаровы приходились троюродными сёстрами. Идалия Полетика чувствовала себя ущемлённой, занимая в свете двусмысленное положение “воспитанницы” графа Строганова;

и даже Фаддей Булгарин.

Правда, следует признать: устрой следствие указанным персонажам перекрёстный допрос, вряд ли они точно назвали бы имя автора “Диплома...”

Картина появления сфабрикованного пасквиля будет неполной без самой причудливой и сложной версии, принадлежащей Татьяне Щербаковой, автору нескольких исторических эссе, в центре которых – фигура Пушкина. Следуя трактовке Щербаковой, основной зачинщицей затеянной “партии” против Пушкина в свете была графиня Софья Бобринская (урожд. графиня Самойлова) – она была младшей дочерью графа А. Н. Самойлова от брака с княжной Е. С. Трубецкой. Организация “заговора” против поэта и доведение ситуации до дуэли – дело её рук. Успех интриги обеспечили родство графини с Николаем I (её муж был внуком императрицы Екатерины II) и тесная интимная дружба с императрицей Александрой Фёдоровной, которая поощряла и “курировала” кипучую “деятельность” своей подруги. Искушённая сводня, графиня свела 40-летнюю императрицу со своим 23-летним кузеном князем А. В. Трубецким, который и стал закопёрщиком в изощрённой травле Пушкина.

В ближайший круг общения с Бобринской и Трубецким входили Геккерены – отец с сыном – и несколько офицеров Кавалергардского полка, “красных” и “наикраснейших” (одних – потому что носили красные мундиры, других – потому что императрица принимала самых близких к ней особ в красной комнате). Вот их-то и использовала в своих целях графиня. Что двигало ею? Мечь. Это чувство по отношению к Пушкину объединило тогда представителей сразу нескольких известных родов: Бобринских, Толстых, Голицыных, Бахметовых, Горчаковых, замешанных в историю с авторством поэмы “Гавриилиада”. Что же касается Нессельроде и других высокопоставленных особ, принимавших участие в травле, то их поведение можно объяснить влиянием императрицы, попавшей под чары юного офицера, направляемого его кузиной Софи. Таким, по версии Татьяны Щербаковой, был расклад сил в нашушедшей истории о делах давно минувших дней.

* Между прочим, сын Николая I, император Александр II, как следует из рассказа придворного вельможи, князя А. М. Голицына, в Зимнем дворце среди ограниченного круга лиц говорил за столом: “Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина; это Нессельроде”.

Затеявая интригу против Пушкина, графиня Софья Бобринская вовсе не помышляла о смерти поэта. Для “красных” офицеров-кавалергардов рассылка “Дипломов...” была очередной, как сегодня говорят, “прикольной” игрой светской молодёжи. Они так просто развлекались. Какую-то роль здесь могла сыграть и Идалия Полетика – поучаствовала. Хотя первоначально столицу полнили слухи, будто подмётные письма вышли из дома Хитрово-Фикельмона. Граф Бенкендорф наблюдал не столько за Пушкиным, сколько, по поручению Николая I, за фаворитом императрицы Трубецким и заодно за его приятелями “красными” кавалергардами, одним из которых был его агент, красавчик Жорж Дантес. Трубецкой демонстрировал перед Александрой Фёдоровной, какой он “крутой”, ему всё нипочём и все кавалергарды “ручные”. А императрица разыгрывала свою партию по отношению к Николаю I и Наталье Пушкиной: причём не из ревности, а из желания немного по-женски “ущипнуть” мужа. Тут как нельзя более кстати подвернулся её брат, принц Фридрих Карл Александр Прусский, заприметивший Пушкину. Ну, как не порадеть родному человечку? Назначается приватный бал с “кадрилями” Натальи Николаевны и её искusstеля брата Карла.

Про графиню Софью Бобринскую, затеявшую великосветскую склоку, за всем шумом в связи со смертью поэта, забыли: опять же сыграли свою роль родство графини с Николаем I (напомню, её муж, граф А. А. Бобринский, был двоюродным братом Александра I и Николая I) и её дружба с императрицей. Кстати, Александра Фёдоровна на правах близкой подруги, посвящённой в интимную жизнь графини Бобринской, могла бы ответить на вопрос, почему именно та оказалась в центре интриги против Пушкина. Кажется, лишь императрица знала, что у графини для козни имелся личный мотив. Её интрига была направлена не столько против Пушкина, сколько против Пушкиной. Дело в том, что, когда Дантес по заданию Бенкендорфа “увлёкся” Натальей Пушкиной (чтобы своим демонстративным ухаживанием перебить слухи о внимании, которое уделяет Наталье Николаевне Николай I), кавалергард вынужден был безжалостно бросить свою тайную любовницу, которая была на 15 лет старше младшего Геккерена. Так что Натали воспринималась Бобринской как разлучница.

Насколько оправдана версия Татьяны Щербактовой – рассуждать не стану. Скажу одно: её сложная конфигурация и множественность действующих лиц позволяют сделать несколько выводов. В гибели Пушкина не был повинен один конкретный человек. Дантеса нельзя назвать исполнителем, а Геккерена-старшего – заказчиком. Происшедшее не представляло собой никакой тайны. Хотя после гибели Пушкина Вяземский и записал, что смерть поэта – великая тайна. Похоже, это была обычная жизненная ситуация, в которой, на первый взгляд, сложное по сути своей довольно просто, а то, что видится простым, оказывается запутанным и каверзным.

Ясное дело, ни против Николая I, чья супруга сводничала своему брату, ни против принца Фридриха Карла, положившего глаз на Натали, ни даже против старшего Геккерена (Пушкин почему-то был убеждён, что именно он сфабриковал – это пушкинское слово “fabriquée” – “Диплом...”) что-либо предпринять у Пушкина не было никакой возможности. Все трое по официальному своему положению драться не могли. Поэтому в первый раз, 4 ноября, вызов был послан “приёмному сыну” Геккерена как “ухажёру” Натали, а второй раз, 16 ноября, отправлено письмо крайне оскорбительного для дипломата содержания в расчёте на то, что последует ответ от Дантеса, наверняка соучастника фабрикаций “Диплома...”.

Как бы то ни было, судьбе угодно было, чтобы сбылось давнее, услышанное Пушкиным ещё в 1819 году пророчество известной петербургской ворожеи Шарлотты Кирхгоф: “...проживёт долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека”. Жорж Дантес был блондином.

Будем откровенны, о Пушкине и при жизни, и после говорили разное: поэт и притворщик, честный и откровенный. Холодный циник? Не без того. Но не более других, к кому мы не предъявляем подобных претензий. В школе нам Пушкина “ставят на пьедестал”, делают из него полубога и объясняют, какой это был светлый, гармоничный, жизнерадостный и поэт, и человек. А после школы до конца жизни для большинства из нас такое представление о Пушкине оказывается единственно верным и справедливым. Хотя оно не что иное, как часть великого мифа, связанного с его именем.

Когда-то Викентий Вересаев решил нарушить эту благость и попытался обосновать версию о двух Пушкиных: поэте, чей весёлый гений явил нам чистую и гармоничную поэзию, и человеке, жившем необузданными страстями, с душой, исполненной цинизма.

Позже Генрих Волков в книге «Мир Пушкина. Личность, мировоззрение, окружение» предложил иную версию, из которой следовало, что поэт-трудоголик просто-напросто не любил признаваться в своей напряжённой поэтической работе, наоборот, поддерживал в окружающих иллюзию, что он предаётся лени и праздности, а стихи у него пишутся по наитию, сами собой. Мол, Пушкин всегда стыдился и стеснялся своего трудолюбия, усердия и даже своей привязанности к жене и детям и «старался камуфлировать» эти качества напускным цинизмом, гусарской бравадой. (Нечто похожее любят рассказывать и про баснописца Ивана Крылова, только там поэт будто бы прятался за свою лень.)

Честно говоря, обе версии, как Вересаева, так и Волкова, стóят друг друга, и спорить с ними нет желания. И дело вовсе не в том, что людей, которые нравятся всем, нет ни среди живых, ни даже среди мёртвых. Просто, если присмотреться, у обоих в образе Пушкина воплощены все расхожие представления о поэте-сверхчеловеке, у которого врождённый талант соседствует с неискоренимыми пороками.

Вместо спора хочется предложить иное видение личности Пушкина и как поэта, и как человека, что для него было неразрывным. Поэтому главное в разговоре о личности Пушкина – решить, как смотреть на неё, выбрать точку зрения.

Начнём с того, что, работая всю жизнь столько, сколько он работал, Пушкин постоянно пребывал в состоянии необычайного нервного напряжения. С этим, думается, никто спорить не станет. Но и тогда, когда по каким-то причинам Пушкин был вынужден не работать, он был «зол на целый свет», места себе не находил, это угнетало его ещё сильнее – так что нервное напряжение ничуть не спадало.

Вот цена – признаем, чрезвычайно высокая, – которую он платил за свою гениальность: он расплачивался за неё собственными нервами, как в таких случаях говорят, сжигал себя. При том внутреннем огне, какой полыхал в нём, в повседневной жизни он испытывал груз целого букета комплексов, которые сызмальства болезненными проявлениями мучили его.

Эта тема, конечно, интересная, а главное, все понимают, очень щекотливая. Она тоже из уже упоминавшегося разряда: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Всё верно. С одной стороны, мы вроде бы непременно желаем навести абсолютную ясность и в большом, и в малом. С другой стороны, мы хотим слышать только то, что хотели бы услышать, и никакой другой, пусть правдивый, но неприятный ответ нас не устраивает.

Известно, что болезненная обидчивость и сверххранимость от любого неосторожного слова доводили Пушкина много раз (порой насчитывают до полутора сотен дуэлей с участием поэта, что трудно даже считать мифом – это чистой воды вымысел) на грань либо самоубийства (чаще всего картель, вызов на дуэль, исходил именно от него, да и поводы для дуэлей зачастую бывали совершенно незначительными), либо убийства (Бог миловал – ни в одной дуэли он не убил человека).

Можно предположить, что Пушкин был из тех людей, которые просто не могут не обижаться – им это состояние необходимо, оно им на пользу. (Точно так же, как существует их противоположность, так называемые люди-«вампиры», готовые из других «пить кровь», – они не могут иначе, потому как лишь унижая и обижая других, они чувствуют себя лучше.) Но такая модель поведения не соответствует реальному поведению Пушкина, не подтверждается его поступками и переживаниями.

Зато есть множество фактов, подтверждающих наличие не одного и не двух комплексов, бороться с которыми у Пушкина далеко не всегда находились силы.

Начнём с очевидного. Маленький рост (у Александра Сергеевича реальный рост без каблуков был 2 аршина 4 вершка – в метрическом измерении 160 сантиметров), заставлявший его глядеть на окружающих и особенно на женщин снизу вверх. Стереотипы на сей счёт строги: мужчина должен быть выше женщины – и точка. Обсуждению не подлежит.

Маленькие мужчины обычно и не обсуждают, а стараются компенсировать свой, как им видится, недостаток, воспользуемся современным термином, ростом карьерно-личностным. Вспомните Наполеона (тот был даже выше Пушкина – 169 см, как указано в “Словаре Наполеона”), чей рост ещё при его жизни стал притчей во языцех, из-за него, собственно, комплекс и получил название “комплекс Наполеона”.

Но, может быть, Пушкина ничуть не смущал его невысокий рост? Может быть. Но однажды он почему-то взял и обронил, что маленький рост – “самый глупый”. А ещё, было замечено, пушкинское восприятие людей было довольно своеобразным: для него именно рост любого человека был первой и, значит, главнейшей приметой. При этом Пушкин почему-то избегал слов: короткий, коротенький, коротышка, махонький, мелкорослый, предпочитая употреблять выражение “невысокого роста”. И именно эти невысокого роста люди у Пушкина зачастую отважны, сильны, отмечены лихостью или, иногда, страданием. В южной “ссылке” Пушкин, человек не злопамятный, но имевший хорошую память, сочиняет на графа Толстого-Американца эпиграмму (в противовес традиционному мнению, она не имеет никакого отношения к графу М. С. Воронцову) довольно прозрачного содержания, имеющую непосредственное отношение к рассматриваемой теме:

*Певец-Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Кот<орый> б<егал> и крич<ал>,
И, поклянись, не гро<мче> Гр<афа>.*

Так что, даже рано вкусив славы (публика вспыхивала аплодисментами, когда он входил в театральную ложу), став кумиром общества, он явно испытывал не самые приятные ощущения от своего роста, причинявшие ему если не душевную боль, то неудобства. Даже тогда, когда он позволял себе с усмешкой говорить про свой рост: “Меня судьба, как лавочник, обмерила”. Ему порой было некомфортно среди других людей, он боялся, что когда кто-то глядит на него, то смотрит именно на его рост, какой он маленький.

Вдобавок к этому невысокий Пушкин имел стремление восполнить малый рост большой физической силой и отвагой. Пушкин внутренне боялся, что кто-то, взглянув на то, какой он маленький, посчитает его недостаточно мужественным. Отсюда его знаменитая привычка носить с собой тяжёлую железную палку и бесконечные вызовы на дуэли, а ещё раньше – частые мальчишеские драки. В психологии, кажется, это называется “комплексом Александра”.

И характерный выбор при женитьбе, когда невеста оказалась заметно выше него ростом (у Натальи Николаевны рост 175,5 см, то есть она на 15,5 см выше Пушкина, на каблуках – выше на голову). Тем самым Пушкин как бы говорил всем: “Пусть я маленький, зато жена высокая, и всё мне нипочём!” Внешне вроде бы нипочём. На балах, как вспоминают современники, он держался от жены подальше. На балах и Вера Вяземские свидетельствуют: “Пушкин не любил стоять рядом с своею женой, и шутя говаривал, что ему подле неё быть унижительно: так мал был он в сравнении с нею ростом”.

Сначала он боялся выглядеть смешно. Потом, стиснув зубы, наблюдая, как Наталья танцует с высоченным императором Николаем и как тот за ней ухаживает, как здоровенный белокурый красавец Дантес открыто волочит за ней, боялся, что их рост и физическая красота окажутся для жены привлекательнее его ума и таланта.

Трудно сказать, есть ли тут прямая связь, но не может не удивлять: стихов жене Пушкин не писал. Он, написавший столько строк любовной лирики. Он, всегда приписывавший окружающим черты, которые хотел в них видеть: друзьям, женщинам, царю, и воспевавший затем эти черты в них, о жене в стихах ни слова. Разве что “Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...”

Комплексы проявлялись в мелочах: и в болезненной чувствительности, и в ущемлённой, как ему казалось, гордости, и в склонности к злой насмешке, и в таких частых у него переходах от ссоры к миру и вновь к ссоре, и в скандальности поведения (чтобы обратить на себя внимание) – и сопровождали Пушкина всю жизнь.

В детстве у него была мысль: почему я такой ущербный, что даже матери не нужен? Он боялся, что его никто не любит.

В отрочестве была мысль: а что если я не смогу реализовать свой поэтический дар? Он боялся, что не состоится как поэт.

В лицейские годы он, скатываясь всё ниже и ниже по результатам учёбы, пытался утвердить себя в мальчишеской среде с помощью физической ловкости, силы, умения постоять за себя. На память приходят слова Пушкина: “*Всё научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр.*”.

Он боялся, что однокурсники не примут его, не отзовутся на его привязанность к лицейскому кружку. Писатель Иван Лажечников, впервые встретив его, удивлялся: “*С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой...*”

А тут ещё эта внешность. Нет, конечно, мужчине вовсе не обязательно быть красавцем, но ведь и смахивать на обезьяну — тоже радости мало. В 1814 году он преподносит друзьям-лицеистам свой стихотворный портрет-исповедь (по-французски), и там две конкретные самооценки:

*Суций бес в проказах,
Суцая обезьяна лицом.*

К тому же отголоски африканских корней, намёки на рабское происхождение. В ответ он бросится эксцентрически подчёркивать своё африканское прошлое (вы все белые, а я чёрный и вообще “потомок негров безобразный”). Ему так хотелось доказать всему миру свою значимость — он боялся, что не получится, какая-нибудь ерунда возьмёт да помешает.

После декабристской драмы, когда из его жизни стали уходить самые близкие друзья, к нему приходит осознание возможности собственной смерти, а вместе с ним частая тоска, он оказывается ещё более ранимым и беззащитным, капризным, мнительным и раздражительным. Вынужденный жить на пределе своих возможностей — творчество требовало от него высшего напряжения жизнеутверждающих сил, — Пушкин в какие-то моменты всё же снижал, и тогда перо вдруг выводило:

*Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.*

Он боялся смерти, и свой страх пытался компенсировать успехами в личной жизни. Кончина матери усилила мысль о смерти, которая и без того всё чаще проскальзывала в разговорах, звучала в его стихах:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...

Бедность, постоянно язвившая его самолюбие, вечное отсутствие денег очень тяготили его — он боялся, что не в состоянии содержать семью. Самое скверное, что заботы о растущей семье, о средствах к существованию мешали работать.

Ему уже четвёртый десяток, а он: “Батюшки! Ведь я до сих пор ничего не сделал в этой жизни!” И попробуй его разубеди. “Борис Годунов” вызвал, мягко говоря, недоумение, “Евгений Онегин” не закончен, “Дубровский” не закончен, на “Историю Пугачёва” глядят как на произведение вредное и опасное... Печатать написанное цензура не даёт. Не удивительно, что ещё при жизни Пушкина немало литераторов принялись хоронить талант поэта и говорить об угасании светила. Он боялся, что годы прожиты напрасно — комплекс потерянного времени. Накануне женитьбы, за неделю до свадьбы, Пушкин пишет одному из давних приятелей: “*Молодость моя прошла шумно и бесплодно*”.

Страх временами то подступает, и тогда он выплёскивает его:

*...И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава...*

то отступает, давая отдых измученной душе.

Вспомнился “донжуанский список” Пушкина, вписанный в альбом сестёр Ушаковых. Он ведь не что иное, как эхо комплекса неполноценности. В чём его проявление? В агрессивном сексуальном поведении, которое сопровождается постоянным хвастовством своими похождениями устно и в письмах приятелям, даже женщинам. Эта сторона поведения человека с таким комплексом довольно хорошо изучена психологами на Западе.

Никакая гениальность не была в состоянии избивать его от этих чувств. Когда они вспыхивали – всегда неожиданно, – всё рвалось, наваливалась усталость, делалось страшно и мутно, хотелось всё оттолкнуть. Возникало ощущение, будто в глубине что-то шевелится, но не выходит, прячется, аж тошно. Куда-то девался сон. И вообще, зачем он, сон? Но минуют несколько дней, иногда недель, и снова всё как прежде, словно ничего и не было. В светлые периоды в душе возникла перемена: появлялось желание (или потребность?) читать Евангелие.

Как мог, Пушкин боролся со своими комплексами. В этом ему помогало опьянение творчеством – оно помогало преодолевать недуг. Можно заметить, в записях и стихах он всегда сдержаннее, чем его настроение и “думы долгие”. Но чем дальше, тем труднее становилось справляться со своими страхами, которые лишь подтверждали так часто повторяемую им бесспорную для него мысль о несовершенстве человеческой природы. И ещё, в Пушкине, для которого литература была самоценна, удивительным образом уживались презрение к суду общества и страх перед этим судом.

Вельможная свора, “жадною толпой стоящая у трона”, находила удовольствие злословить в его адрес, “дразнить” поэта слухами, травить интригами, чернить жену, терзать его разгорячённое самолюбие, доводя до состояния неуправляемой ярости. Всё как заведено, как принято, ничего нового.

В последние дни, незадолго до гибели, его видели “мрачным, как ночь, нахмуренным, как Юпитер во гневе”, он “прерывал своё угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом”. Ему уже недолго оставалось бояться и мучиться. Скоро покой, которого он так жаждал, придёт к нему за оградой Святогорского монастыря.

Собственное психологическое состояние Пушкина не могло не найти отражения в его творчестве. Когда вглядываются в отношение поэта к современникам и культурному наследию прошлого, традиционно стараются вникнуть в очевидное: подражает – кому и как? оригинален – насколько и в чём? Но есть ещё одна интересная тема, присутствующая в скрытой форме, – тема психологического механизма творчества Пушкина.

Не углубляясь сильно в неё, попробуем всё же приглядеться: сказалась ли закомплексованность Пушкина на творческом поведении поэта, отразилась ли она, с точки зрения психологии, при создании того или иного его произведения?

Как в обычной жизни, боязнь, что кто-то сочтёт его недостаточно мужественным, часто толкала его бросать вызов на дуэль и требовать ответа, точно так же вызовы и “требования ответа” сопровождают творческий путь Пушкина. Начиная с того, что 15-летний юный гений на лицейском экзамене своим стихотворением, по сути, бросает вызов престарелому патриарху российской поэзии Державину, и тот в качестве ответа фактически передаёт юному сопернику поэтическую эстафету. С той же целью – вызов – Пушкин посылает “Руслана и Людмилу” другому признанному мастеру, Жуковскому, и тот в ответ передаёт автору поэмы свой портрет с надписью: “Победителю-ученику от побеждённого учителя”. Характер вызова носит довольно большое количество часто именно с этой целью созданных Пушкиным произведений, даже без учёта эпиграмм.

Вызов и ответ на него не просто присутствуют, а порой формируют сюжет целого ряда произведений Пушкина. В “Египетских ночах” Клеопатра бросает вызов своим поклонникам:

*Свои я ночи продаю.
Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?*

Причиной смерти Дон Гуана становится безрассудная смелость, с которой тот бросает вызов каменной статуе. В “Медном всаднике” “дрожащая

тварь” – Евгений – бросает вызов статуе царя: “Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!”

В какой-то мере и сама смерть поэта оказалась следствием того, что он бросил вызов судьбе и времени, оборвав нить жизни так рано.

Можно добавить: не было бы Пушкина, с его болезненными срывами и безысходными страхами, мнимыми и реальными, преодолением им всего и вся в творчестве, не определилась бы, вероятно, наша национальная вера в удивительное жизнеутверждающее начало, которое оставляет свет надежды в самых безнадежных, трагических ситуациях, дарит свет и тепло, мудрость и уверенность, заряжает энергией и надеждой.

Александр Сергеевич не был баловнем судьбы. Однако неизменно признавался образцом душевной гармонии. Пока в 1925 году не был опубликован труд марксиста и психиатра Я. В. Минца, объявившего Пушкина психопатом. А вскоре в другом исследовании поэт был назван “болезненным эротоманом”, страдающим “гипертрофированным развитием половых желёз”. С тех пор появилась целая библиотека, состоящая из публикаций многочисленных эскулапов-диагностов на тему о необузданной чувственной натуре Пушкина. Среди них врачи, сексологи, психологи, психиатры, читая которых, невольно вспоминаешь 101-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов “Плоды раздумья” Козьмы Пруткова: “Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя”.

Наделённый пламенной страстностью, Пушкин обладал ясным и отчётливым сознанием, светлым и уравновешенным умом, разумным пониманием сущности истин и духа правды. Внутренней энергии, которой он был наделён от природы, хватало ему для гениального претворения жизни в поэзию, для рождения поэтических образов и звуков. А здравого смысла – для глубокого постижения истории и написания содержательной прозы.

Но, как видим, всё это не приносило ему успеха в житейской практике. В повседневной жизни он был заложником угнетающих его придворных обязанностей и светских связей. Летом 1834 года в письме жене, которая тогда находилась в Полотняном Заводе, он писал из Петербурга:

“Хорошо, коли проживу я лет ещё 25; а коли свернушь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили, как шута, и что их маменька ужас как мила была на аничковых балах. Ну, делать нечего. Бог велик; главное то, что я не хочу, чтоб могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма”.

Его мучили, буквально душили, мысли, что венценосный радетель Николай I и приставленный им опекун Бенкендорф сочтут его неблагодарным. Нет сомнений, к этому времени уже чётко сложился этот “любовный” треугольник, система отношений в котором и предопределила, в конечном счёте, трагический исход событий. Это был, можно сказать, принципиальный и образцовый треугольник. В его основании находились две знаковые фигуры века, два придворных дворянина: Пушкин и Бенкендорф. А вершину венчала центральная фигура государя императора. Глядя на эту выверенную конструкцию, каждый вспоминал любимое изречение Николая I: “Русские дворяне служат государству, немецкие – нам”.

Полагаю, мы не поймём отношений Пушкина с властью, если будем смотреть на поэта и государя без учёта выбора каждым из них своего предназначения и сути занятия, которое приносит ему наслаждение. Они ведь не только очень по-разному “зрели мир”, но, что куда существенней, по-разному “зрели себя в этом мире”. Подтверждением могут служить два красноречивых эпизода из их жизни.

Начнём с Пушкина. В 1829 году один лицеист вскоре после выпуска из императорского Царскосельского лицея встретил Пушкина на Невском проспекте. Поэт, увидав на нём лицейский мундир, подошёл и спросил:

- Вы, вероятно, только что выпущены из Лицея?
- Да, только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку,
- ответил лицеист и в свою очередь спросил:
- Вы тоже воспитывались в нашем Лицее?
- Да.
- А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?
- Я числюсь по России, – ответил Пушкин.

Теперь очередь царя. Осенью 1827 года – спустя год после аудиенции, данной возвращённому из Михайловского Пушкину, – Николай I встретил в Петербурге на Невском проспекте мальчика-гимназиста в расстёгнутом мундире. Дело это, в сущности, стоившее не более, чем замечания гувернёра, стало предметом специального расследования, точно произошло событие государственной важности. По приказу императора военный генерал-губернатор столицы П. В. Голенищев-Кутузов (тот самый, который распоряжался казнью декабристов) разыскал “виновного”. После чего последовал рапорт генерал-адъютанта непосредственно императору: *“Неопрятность и безобразный вид его, по личному моему осмотру, происходит от несчастного физического его сложения, у него на груди и на спине горбы, а сюртук так узок, что он застегнуть его не может”*.

Из чего следует: военный генерал-губернатор Петербурга лично осматривал больного мальчика, дабы убедиться, что в его “безобразном виде” не кроется никакой крамолы. Ознакомившись с донесением, император начертал на нём резолюцию с предписанием: задержанного отослать к министру народного просвещения, которому объявлялся выговор за то, что гимназиста *“одели в платье, которого носить не может”*.

Сам по себе этот эпизод можно считать ничтожным, однако он чрезвычайно показателен для личности Николая I, о котором строгий опекун “поднадзорного мальчишки” Пушкина Бенкендорф писал: *“Развлечение государя со своими войсками, по собственному его сознанию, – единственное и истинное для него наслаждение”*.

Пушкин же в принципе не помещался в подобные рамки сознания. В повести “Египетские ночи”, основной темой которой стали предвзятость и противоречивость положения творца в обществе, Александр Сергеевич писал:

“Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеимён и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по её мнению, он рождён для её пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? – красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждёт уж элегии”.

“Духовной жаждою томим”, Пушкин сам дал точное определение своего мирозерцания. Его можно встретить, читая стихотворение “Демон” (“В те дни, когда мне были новы...”):

*Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...*

Впрочем, по этому поводу требуется уточнение более общего порядка: поэт принимал лишь такое бытие, которое основано на человечности. “Герой, будь прежде человек”, – писал он в черновиках “Евгения Онегина”. Позже эту мысль поэт высказал печатно и более резко в стихотворении “Герой” (“Да, слава в прихотях вольна...”):

*Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...*

Стала неким штампом мысль, что западники видят в Пушкине носителя европейской культуры, славянофилы – хранителя “русского духа”, традиционалисты – основателя традиций, модернисты – разрушителя традиций... Пушкин у всех был и есть разный. У Белинского – свой, у Льва Толстого – свой, у Цветаевой – свой, у Тынянова – свой, у Юрия Лотмана – свой, у Юрия Лощица – свой.

Но странное дело, есть детали, которые не вписываются ни в один “нарисованный” портрет Пушкина, будь он “кисти” Гоголя, Аполлона Григорьева, Добролюбова, Иннокентия Анненского, Вл. Соловьёва, Андрея Платонова, Вадима Кожинова, Юрия Селезнёва...

Например, к какому полюсу отношений Пушкина и Николая I отнести строки из письма поэта Наталье Николаевне (1834), касающиеся царя: к тому, к которому склоняют сторонники версии, что государственный и патриот Пушкин был почитателем государя, или к их противникам?

“На того я перестал сердиться, потому что, toute réflexion faite**, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к говну, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman***. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух”.*

И всё же обнаруживается ключевой пункт, который позволяет, на мой взгляд, понять то, каким образом у Пушкина происходило писательское прозрение мира и места человека в нём. Сначала, справедливо заметил А. Балдин, “Пушкин считал, что через память его рода ему было дано особое сочувствие к русской истории”. Позже Пушкин придёт к убеждению, что человек **живёт в истории**, а не в те или иные выпавшие ему дни и годы. И, наконец, он выдвинет идею гуманности как мерила исторического прогресса. Гуманности, которая, по мысли Пушкина, не ограничивалась обычным мягкосердечием, а исходила из чувства справедливости – глубинной и основополагающей особенности характера русского народа.

В этом смысле Пушкин дал начало отечественной классической литературе, обращённой к поискам правды. Великой литературе, следующей голосу совести, духовному началу, ясно различающему добро от зла, сознающей вину человека, но устремлённой к идеалу. Литературе, которая стала самым удивительным и самым загадочным явлением европейской культуры.

Отечественное бытие для Пушкина возникало из синтеза “связи времён” и идеи преемственности. По сравнению с большинством своих современников, Пушкин исторический кругозор имел неизмеримо шире, и русское историческое прошлое он любил гораздо сильнее. Эта любовь позволяла ему, во-первых, сознавать, что историческая правда – штука сложная, **многослойная**; во-вторых, верить в то, что история определила высокое предназначение России; в-третьих, понимать дух, “нерв” каждой отдельной исторической эпохи. Поэтому он никогда не мерил, скажем, 1760-е годы меркою 1830-х годов и наоборот.

Нашему нынешнему, пристрастному мнению можно найти подтверждение в общеизвестных суждениях самого поэта (в стихах и в прозе):

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

*Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.*

“Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства”.

“Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т.е. историей отечества”.

“Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, но клянусь честью, что ни за что на свете я

* На **того**. . . – на Николая I, скорее всего, за вскрытие почтой личных писем Пушкина.

** в сущности говоря (фр.).

*** джентльмен (англ.)

не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал”.

“Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство”.

“Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на неё никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведённое крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение... Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабождённую Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией”*.

“Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясли, но у нас было особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех”.

Эта небольшая подборка тезисов, органичных для взглядов Пушкина, способна показать, что он и на события своего века, и на себя, живущего в нём, глядел с той же исторической рассудительностью. Он жаждал перемен в отечестве. Первая встреча с Николаем I заронила у него надежду на такие перемены. Но стихия истории качнула государя в другую сторону. Сначала восстание гвардии в момент его воцарения, затем революционные события в Европе 1830-го и 1848 годов насторожили, разочаровали взшедшего на престол Николая I. Пушкин одним из первых уловил и понял, что приоритеты государя изменились. Главным для того стало не допустить в России никаких изменений. Вообще никаких изменений. Столь же чуткий человек, шеф жандармов А. Х. Бенкендорф сформулировал новую историческую позицию императора так: “... Прошлое России — удивительно, настоящее — более чем великолепно, будущее — выше всего, что может представить самое пылкое воображение”.

Надо признать, что прогнозы “дорожной карты”, как ныне модно называть план дальнейшего развития, достижения политических, социальных и иных целей, у Пушкина и Николая I разошлись. Но даже если и так, зачем ещё и перечесть? Сколько раз умные люди советовали поэту жить в мире с царём, со всем окружением, не лезть на рожон, не разбрасываться своими эпиграммами, о чём-то забыть, с кем-то примириться, одним словом, смириться. На что он надеялся? С точки зрения двора, вёл себя, как безумец. Даже Жуковский не сдержался и в 1834 году раздражённо написал, что ему “надо бы пожить в жёлтом доме”.

Оказалось, что осознание всемогущим государем и поэтом в камер-юнкерском мундире своего предначертания и жизнеощущения определило направление их исторического движения в разные стороны. Их взаимоотношения — ещё при жизни Пушкина — стали предметом толков, имеющих не только личный характер, но и политический. Они только усилились после трагической гибели поэта и не стихли до сих пор.

Вариации на эту тему столь многообразны, что не поддаются количественному измерению. Что же касается их содержательного наполнения, то тут присутствуют убеждения, к примеру, что смерть Пушкина — результат заговора, руководимого лично царём; что из Пушкина сделали врага самодержавия, а у него были прекрасные отношения с государем; что с Николаем I Пушкин

* А не Польшою, как ещё недавно утверждали европейские журналы; но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагоприятна (прим. Пушкина).

почти сроднился, хотя и не всё в их взаимоотношениях было безоблачным... Самое красочное словоблудие принадлежит Н. Ф. Шахмагонову:

“Пушкин и Николай Первый оказались по одну сторону баррикады, взведённой в России духовными наследниками тех, кто пытался уничтожить Державу 14 декабря 1825 года. <...> Государь Император Николай Павлович и Русский гений Александр Сергеевич Пушкин стали соратниками по борьбе, смысл которой был в проведении Русской контрреволюции, контрреволюции, направленной против чужебесия и западничества, внедрённых в Россию в начале XVIII века. И светская чернь ненавидела как Царя, так и поэта примерно за одно и то же. Царь стал Самодержавным вождём этой Русской контрреволюции, а поэт – её идеологическим вождём, её вдохновителем, её просветителем, её поистине блистательным, зовущим за собою широкие народные массы трибуном”.

Ответ на один из первостепенных для судьбы Пушкина вопросов обычно предлагается видеть в его поэзии, прежде всего, в так называемом “Николаевском цикле”. В него включают несколько стихотворений, написанных поэтом между 1826-м и 1834-м годами и обращённых к императору Николаю I или содержащих оценку его деятельности. Такой подход можно принять, но лишь в случае, если ключом к пониманию этого пласта пушкинской поэзии станет лишение её политической тенденциозности, без которой обходится редкое прочтение стихотворений “Пророк”, “Стансы” (“В надежде славы и добра...”), “Друзьям” (“Нет, я не льстец, когда царю...”), “Герой” и четырёх произведений в поддержку позиции государя в польском вопросе: “Клеветникам России”, “Перед гробницею святой...”, “Бородинская годовщина” (“Великий день Бородина...”), “От Вас узнал я плен Варшавы...”.

Позволительно ли считать их противоречивыми? В определённой мере, да. В тех же “Стансах” одни предпочитают увидеть проявление проправительственной позиции Пушкина, но другие полагают, что поэт не столько приветствовал содеянное государем, сколько направлял его державную волю, следуя желанию приблизить встречу с друзьями.

Из чего исходил поэт? Скорбя о казнённых и сосланных в Сибирь друзьях, товарищах, братьях, он, однако, их не оправдывал. Пушкин понимал, что они повинны в военном мятеже и понесли наказание согласно принятым тогда судебным нормам. Так что закон есть закон.

Произвол Александра I отправил поэта сначала на Юг, а потом загнал в Михайловское. 6-летнюю опалу прервал вступивший на престол Николай I. С ним у Пушкина в 1826 году возникают надежды не столько на более либеральное царствование, сколько на больший правопорядок в государстве:

*В надежде славы и добра
Гляжу вперёд я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.*

Но правдой он привлёк сердца...

“Правда” для Пушкина объединяет здесь нравственные и правовые нормы. Спустя годы в дневниковой записи (1834), сопоставляя Александра I и Николая I, Пушкин отметит их принципиальную разницу, которая заключается в том, что захваченная незаконным путём власть лишает себя нравственной возможности осуществлять правосудие:

“... Покойный Государь окружён был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря... Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать”.

Утверждение права, которое предполагает милосердие, ни в коей мере не означало для поэта терпимости к правонарушениям. Власть, считал Пушкин, обязана соблюдать законы сама и требовать того же от подданных. Неспособность обеспечить правопорядок вызывала у Пушкина презрение. Почему у него такое отношение власти и правопорядку?

Да потому, что вся история России предшествовавшего столетия полна заговорами, дворцовыми переворотами, убийствами, порождавшими безнравственность и беззаконие, которое оказывалось источником великих бед

России в прошлом и настоящем. Таковое случалось не только с Александром I. Екатерина II вступила на престол в результате заговора и убийства своего мужа Петра III. Пушкин-историк писал по этому поводу:

“Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободрённые таковою слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию... Отселе... совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста всё крало и всё было продажно. Таким образом развратная Государыня развратила своё государство”.

Тема противоправного захвата власти и его последствий неоднократно возникала в творчестве Пушкина: в “Борисе Годунове”, в повести “Дубровский”, в “Капитанской дочке”. Обращение к истории убеждало творца в неизменности того, что в реальной жизни беззаконие склоняет властителя к поступкам безнравственным и безответственным, порождая новые беззакония. Восприятие закона и особенно проявлений его в такой специфической сфере, как престолонаследие, во многом объясняет отношение Пушкина к Николаю I. Только от законного правителя он мог ожидать воплощения своих надежд на просвещённое, справедливое, милосердное царствование.

Но – и это немаловажно – в обществе всё больше сказывался раскол. Оппозиционные настроения ширились, охватывая определённую часть дворянства. Идея самодержавной власти и сама лояльность императору теряла своих сторонников. Пушкину, можно видеть, приходилось оправдываться за проявление своей приверженности Николаю I, которая воспринимались как подобо-страстие перед императором.

Осенью 1830 года как отклик на приезд Николая I в заражённую холерой Москву родилось стихотворение “Герой”, и поэт, публикуя его, не желает афишировать своё авторство. Поддержка царя звучит в центральном стихотворении на польскую тему – “Клеветникам России”. Патриотический пафос, мотив прославления мощи России, обращение к её былой и сегодняшней славе, резкие слова в адрес тех, кто извне призывал к военному вмешательству в русско-польские дела, и тема милосердия и достойного великодушия, проявленного победителем, вызвали оправданное желание автора представить произведение царю.

Однако Пушкин счёл неприличным лично передать его Николаю I или хотя бы подписать ему. Он воспользовался своим знакомством с А. О. Россет, которая входила в круг приближенных к Николаю I. Через неё царь, случилось, даже передавал Пушкину свои замечания о его произведениях. Так ли было в действительности, или отношения между ними приобрели характер приятельских много позже, в соответствии с известным принципом испорченного телефона, сегодня сказать с уверенностью нельзя. Бесспорны лишь два факта. Сама Александра Осиповна говорила: “Пушкин не мой поэт. Мой поэт Вяземский”.

Тем не менее, когда Пушкин напечатал свои известные стихи на Польшу, он прислал” ей “экземпляр и написал карандашом” записку. В ней высказался, будто именно от Россет узнал про “плен Варшавы”. Хотя в действительности о том, что Варшава взята, уведомила его “графиня Ламберт, которая жила в доме Олениной против Пушкина”. Позже в своих мемуарах это признает сама Александра Россет. Почему же Пушкин в записке сослался на неё? Можно предположить, что ход (сегодня его можно считать маркетинговым), избранный поэтом, гарантировал ему, что таким образом стихи будут непременно представлены императору. Ведь какая женщина устоит перед тем, чтобы не похвастать перед царём, что не без её участия родились на свет столь патриотические стихи...

После 1834 года прямо или косвенно относящихся к Николаю I стихов Пушкин не писал, их отношения продолжались, но впереди уже замаячила развязка, которая имела сугубо прозаический характер. Наглядным подтверждением тому стало пушкинское письмо министру финансов графу Е. Ф. Канкрину. Тема послания, на первый взгляд, банальная. Пушкин просит казну принять в счёт погашения его долга в 45 тысяч рублей нижегородское имение, пожалованное ему отцом. Это если читать слова, из которых сложены строки письма.

Но тот же самый текст окажется совсем не так прост, если читать написанное между его строк. Чтобы понять истинное содержание письма и уловить связь с реальностью, следует принять во внимание, что написано оно

6 ноября 1836 года, то есть через день после появления анонимных писем с “Дипломом Ордена рогоносцев”. Если учесть, что трагическая дуэль между Пушкиным и Дантесом произошла 27 января (8 февраля) 1837 года, то обращение к министру финансов случилось за два с половиной месяца до поединка. К конфликту с Геккеренами финансовая тема письма отношения никакого не имела. Там всё укладывалось в кодекс дворянской чести, чётко прописывающий порядок поведения в подобных ситуациях.

Тема денег касалась совсем другого лица – Николая I, потому что сумма была дана Пушкину в долг царём. Письмо содержало довольно однозначную комбинацию: долг желаю вернуть “сполна и немедленно”, а вот прощение долга – милость-подачку – принять не желаю. Заложенная в послание конфликтная составляющая легко прочитывалась. Реакцию царя предугадать было несложно. Поэтому в ответе министр предложение Пушкина назвал “неудобным”, сказав, что “во всяком подобном случае нужно испрашивать высочайшее повеление”.

Как это часто бывало у Пушкина, когда он писал письма на имя Бенкендорфа, имея в виду адресатом Николая I, так и тут строки, посланные министру, фактически обращены государю. В письме умолчание важнее содержания. На словах письмо о возврате долга. По сути оно недвусмысленно говорило: “Продолжать играть роль покладистого мужа, купленного царскими подачками, не желаю. Поэтому заberi свои деньги”. По логике содержащийся между строк смысл очень близок тем словам, что Пушкин обратит к царю при личной встрече 23 ноября: “... признаюсь откровенно, я и Вас самих подозревал в ухаживании за моей женой...”, – в которых слышалось желание охладить притязания царя.

Так что вопрос – кто был объектом возмущения Пушкина, Геккерены или государь? – не встаёт. Конфликт с царём решения не имел и не мог его иметь. Возмущение могло быть гневным, неутраченным, но в результате оставалось бессильным. Единственный, против кого Пушкин мог что-то предпринять, – это Дантес. Принципиально важно другое: несоразмерный гнев Пушкина на Геккеренов, хоть на старшего, хоть на младшего, хоть на обоих вместе, объясним лишь в том случае, если для Пушкина главная фигура в “Дипломе...” не он, а император (очевидный намёк на его связь с Натальей Николаевной).

Кровь ещё не пролилась, но ждать оставалось недолго. Можно сказать, что история о всем известной красавице и трёх мужчинах подошла к концу. Она подвела черту под закрученным сюжетом, где жизнь одного из них оказалась оборванной трагической дуэлью, которой он сам и добивался, второму судьба уготовила роль “стрелочника”, а третьему просто был не нужен скандал в благородном семействе, он мог позволить себе отойти в сторону.

Начиная с 23 ноября, когда, казалось бы, Пушкина и Дантеса удалось развести и в Аничковом дворце Николай I по просьбе Жуковского принял Пушкина, о жизни Александра Сергеевича можно слышать одни предположения. О самой встрече поэта и царя с глазу на глаз ни один из собеседников письменных воспоминаний не оставил. По слухам в кругу Пушкина, известно, что император будто бы принял сторону Пушкина и взял с него слово не драться. Одновременно все его друзья-приятели в один голос утверждали, что после разговора с государем Пушкин стал ещё мрачнее и раздражительнее. Что произошло между ним и царём во время аудиенции в Аничковом? Нет не то что фактов, нет даже намёков на них. Достоверны лишь два последовавших события. Пушкин нарушил данное царю обещание не доводить дело до дуэли, и он сделал условия поединка заведомо убийственными.

Как, почему принято это решение, чем оно мотивировано, что за ним стоит, неужели поэт рассчитывал, что именно его пуля окажется для Дантеса смертельной, а его ждёт ссылка, или наоборот, сам шёл на верную гибель? Здесь напрашивается только один ответ: сделанный им выбор в ряду других, повседневных, стал самым значимым в его короткой жизни.

Конечно, мы вправе недоумевать: зачем он прочертил такую её траекторию? И что тут сказать? Принимая непрерывно ежедневно, ежечасно, ежеминутно свои решения, мы и творим свою непредсказуемую жизнь. Сами выбирая друзей и недругов, любимых и нелюбимых, решаясь на то или иное действие: отправляясь в поездку, решаясь на свидание (или отказывая в нём), читая ту или иную книгу (или не желая её вообще открывать), вступая в беседу (или, наоборот, избегая любых контактов с тем либо другим человеком), занимаясь делом (либо отказываясь что-нибудь делать, предпочитая, как

Обломов, валяться на диване), приступая к написанию произведения, сочиняя стих, размышляя над прозой, читая написанное вслух соседям и друзьям, давая советы (либо воздерживаясь от них), обращаясь за помощью или избегая её, мы, собственно, и формируем свою судьбу, которая включает в себя окружающих нас людей и поступки, какие мы в конечном счёте совершаем. Сильная личность тем и отличается от слабой, что способна принимать неординарные решения.

Вообще-то говоря, для Пушкина принять такое решение было актом свободы. Той самой, которую он всегда воспевал и к которой он стремился. Его жизнь нельзя представить и понять вне времени, в которое она произошла. Пушкин прожил свою жизнь именно так, как ему следовало её прожить, как он мог её прожить в конкретных исторических обстоятельствах.

Вл. Соловьёв, одна из центральных фигур в российской философии XIX века, размышляя о судьбе Пушкина и о личной нравственной ответственности человека, в 1897 году писал:

“Ни эстетический культ пушкинской поэзии, ни сердечное восхищение лучшими чертами в образе самого поэта не уменьшаются от того, что мы признаём ту истину, что он сообразно своей собственной воле окончил своё земное поприще. Ведь противоположный взгляд, помимо своей исторической неосновательности, был бы уничижителен для самого Пушкина. Разве не уничижительно для великого гения быть пустою игрушкой чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, для которых у самого этого гения и у его поклонников не находится достаточно презрительных выражений”.

Статья, в которой появились эти строки, вызвала тогда немало печатных возражений. Позиция, заявленная в ней, по сию пору принимается далеко не всеми. Мысль, что Пушкин сделал осознанный выбор, затеяв заведомо смертельную дуэль, часто отрицается, что называется, с порога. Но даже в таком виде жизнь Пушкина предстаёт в виде мифа. Религиозная аргументация его представляет судьбу поэта как “провидение Божие”. Эстетическая аргументация, например, Ю. Лотмана склоняет к тому, что Пушкин создал “не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни”. Лотману Пушкин видится “победителем, счастливецом, а не мучеником”.

Тем самым Юрий Михайлович предложил некую разнонаправленную альтернативу: или мученик, или счастливец. По принципу: или чёрное, или белое. Подход, напоминаящий его же взгляды на детство Пушкина. Лотману, как помним, Сашкин детство в семье виделось несчастливым, без всяких там оттенков и переходов. Отличие лишь в том, что детство Пушкина воспринималось им в тёмных тонах, а жизнь в целом – в светлых. Но “штриховать” судьбу Пушкина одним цветом будет необъективно. По той хотя бы причине, что в ней хватало и резких поворотов, всевозможных конфликтов и разных кульбитов, как изящных, так и грубоватых.

Победитель, по Лотману, и счастливец Пушкин, меж тем, должен был с невозмутимым спокойствием воспринимать следующие одна за другой волны обвинений его в подбострастии к императору. Должен был не чувствовать себя мучеником, читая в “Северной пчеле” болгаринские гадости, наподобие “Анекдота”, где чёрным по белому писалось, например, что Пушкин “чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволяли ему наряжаться в шитый кафтан”.

Ему вроде бы было не привыкать к нелестным пассажам в свой адрес. Чего только он не слышал на протяжении своей короткой жизни буквально с самого начала творческого пути. Вечно находились те, кого не устраивало чуть ли не каждое его слово. Помнилось, как критик, скрывшийся под псевдонимом “Житель Бутырской слободы”, возмущался “грубостью” “Руслана и Людмила”, называя поэму “гостем с бородой, в армяке, в лаптях”, затесавшимся в Московское Благородное собрание и кричащим зычным голосом: “Здорово, ребята!” В сознание нынешнего читателя, для которого пушкинские сказки вошли в фонд русской классики на правах шедевров высшего ранга, с трудом укладывается мысль о том, что они оказались напрочь не поняты почти всеми современниками сказок. Их называли неудачными, бледными, искусственными.

И вообще в Пушкине было, на взгляд окружающих, много лишнего. При этом самая важная и определяющая черта его природы – он был готов про

кого угодно и где угодно сказать острое “словцо”. Эпизодов такого рода не счесть. Особенно знаменит следующий: 11 марта 1821 года Пушкин, Липранди и ещё несколько офицеров обедали у бригадного генерала Д. Н. Бологовского. Собрались отметить новоиспечённого подполковника Дерезинского, о производстве которого в тот день был получен приказ. Вдруг неожиданно для всех Пушкин, приподнявшись несколько, произнёс: “Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье”. — “Это за что?” — спросил генерал. — “Сегодня 11 марта”, — отвечал полуосоловевший Пушкин. Никто тоста не понял, хотя за столом было человек десять, вспоминал Липранди, но генерал вспыхнул и сделался не в своей тарелке. Ровно за 20 лет до того обеда Бологовский стоял на карауле в Михайловском дворце в ночь на 11 марта 1801 года, когда задушен был император Павел, и сам принимал участие в убийстве. По уверению императора Александра I, Бологовский приподнял за волосы мёртвую голову императора, ударил её оземь и воскликнул: “Вот тиран!”

Странные эпизоды из жизни Пушкина, а позже анекдоты про него сохранялись в памяти людей много лучше того, что поэтом было написано. Впрочем, написано — вовсе не значит, что напечатано. Только 247 произведений, или 26% созданного, было опубликовано при жизни поэта. Остальные три четверти его наследия издавались на протяжении 150 лет после его смерти. Грустная статистика: Пушкин при жизни не увидел напечатанными 77% написанных им стихотворений, 84% поэм, 82% сказок, 75% пьес, 76% романов и повестей в прозе. Исторический по преимуществу писатель так и не увидел выпущенными в свет 98% своих исторических исследований. Из писем до нас дошла примерно треть, из дневников — четверть.

И это ещё не всё. Пушкинский период был дворянским: и окружение поэта, и нравы среды, и характеры людей, и литература, и общественное мнение. Соответственно, и главный герой времени был дворянин, человек, далёкий от прозаических жизненных забот. А новая русская литература (Пушкин именовал её “вшивым рынком”), которую мы ассоциируем с именами Булгарина, Полевого, Надеждина, идущая на смену дворянской, формировалась совсем иным слоем образованных людей — разночинной интеллигенцией. Это было другое “крыло” литературы, которое противопоставляло себя дворянскому: и как социальный слой, и как новая идеология. Её носителями зачастую являлись сторонники разномастных радикальных политических преобразований — либералы, демократы, прогрессисты, нигилисты, революционеры, социалисты. Каждый из них решал свои утилитарные задачи. Тем не менее, истиной и благом провозглашалось объединяющее их — то, что становилось орудием общественного переворота.

Народное благополучие, людское счастье, о чём высказывалось общественное мнение интеллигенции, оборачивалось на каждом шагу отрицанием дворянского просвещения, этики, культуры в широком смысле этого слова, потому что они стояли на пути заветного клича: “Долой самодержавие!” Лозунг этот роднил их с декабристами. Принципиальное отношение к идеям совершенствования на крови у Пушкина сформировалось ещё во время работы над “Борисом Годуновым”.

Ему объясняли, что век и Россия идут вперёд, а он топчется на месте, предлагая читателю “Домик в Коломне” да “Барышню-крестьянку”. То, что Пушкин стал поэтом действительности (за что его в 1830-е годы перестали понимать), эти другие не знали, да и знать особо не хотели. Для революционных демократов он был чужаком, вчерашним днём литературы. Почему? Поэт, околдованный историей, вглядывающийся в рисунок прошлого и изучающий приёмы композиций старины, считали провозвестники революции, не может быть соратником по борьбе. И вообще пиетет к историческому прошлому — занятие никчёмное. Поэт гражданином быть обязан, он должен глядеть в завтрашний день и своим словом приближать его. Нечто подобное Пушкин уже слышал ранее от друзей-декабристов. Наступать второй раз на те же грабли желания не возникало. Но и места себе в новой литературе Пушкин не находил.

Ситуация, если вдуматься, тривиальная, если исходить из пушкинских строк, увидевших свет ещё в 1828 году в стихотворении “Поэт и толпа”:

*Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,*

*Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.*

Тогдашние радетели прогресса не просто заметили эти строки, они страшно на них обиделись, вернее, из-за них обиделись на Пушкина. Ишь ты, “рождены для вдохновенья”. Поэт должен служить обществу, а не музам. Надо ли удивляться, что кому-то не без оснований кажется (об этом говорил ещё Александр Блок), что в своё время голос Белинского походил на голос Бенкендорфа именно в силу его утилитарности. Полагаю, сам же Пушкин наверняка находил тогда много общего между устремлениями декабриста Рыльева и суждениями всевозможных сторонников революции, готовых вырвать Россию из варварства. Каким образом? Смиренно признать свою отсталость и учиться всему у Запада. Сам Пушкин стоял на позиции, что у каждого народа своя физиономия, свой дух и путь.

Общественно-политические симпатии и антипатии, присущие Александру Сергеевичу, позволяют назвать его консерватором. Это заключение подтверждается пушкинским убеждением, что история творится не массой средних людей (“Жалкий род, достойный слёз и смеха! // Жрецы минутного, поклонники успеха!”), а избранными лидерами, теми, кто наделён тонким чувством исторической традиции и проникнут заботой о мирной непрерывности политического развития. Исходя из этого, Пушкин и в поэзии, и в политических размышлениях прославляет “разумную волю единиц, меньшинства, призванного управлять человечеством”, и презирает “чернь”, толпу, где господствует общее обывательское мнение.

Отсюда ненависть Пушкина к демократии (“народу”, который “властвует”; “большинству, нагло притесняющему общество”) в “её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве”, когда “всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству”.

Вторым компонентом пушкинского консерватизма было осознание им укоренённости культурного развития и творческого начала в традициях прошлого. Залогом величия человека служит любовь “к родному пепелищу”. Отсюда его презрение к той части придворного дворянства, в ком он видел временщиков, “прыгающих в князя из хохлов”. Далеко не всем власть имущим в любые времена такой подход Пушкина “к отеческим гробам” был по душе. Не вошли, к сожалению, в кладезь мудрых мыслей народа его слова:

“Я без прискорбья никогда не мог видеть уничижение наших исторических родов... Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ! Образованный француз или англичанин дорожит строкою летописца, в которой упоминается имя его предка...; но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездю двюродного дядюшки, чем историей своего дома, т.е. историей отечества. И это ставите вы ему в достоинство. Конечно, есть достоинство выше знатности рода — именно достоинство личное... Имена Минина и Ломоносова вдвоём перевесят все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться их именами?”

С консерватизмом Пушкина связана и его убеждённость в необходимости мирной непрерывности культурного и политического развития. К мыслям на эту тему он возвращался неоднократно. Достаточно вспомнить самые знаковые его высказывания:

“Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”

“Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества”.

“Устойчивость — первое условие общественного блага. Как согласовать её с бесконечным совершенствованием?” (фр.)

Значит, консерватор? Но как тогда быть с его вожделием личной независимости и требованием свободы культурного и духовного творчества? Они вроде бы соотносятся с либеральными ценностями. А принципы духовной независимости личности и невмешательства государства в сферу духовной культуры? Они ведь тоже из той же колоды. Как и утверждение независимости личности в частной жизни. Пушкин в определённой мере готов был пожертвовать

политической свободой, но жить без семейственной неприкосновенности (*inviolabilité de famille*) – считал невозможным. Плохо представляя себе реальную жизнь сосланных в Сибирь декабристов, он, однако, по-писательски размашисто в письме жене, зная, что его прочтёт не только Натали, определит самоощущение: “Каторга не в пример лучше”.

Случившееся с Пушкиным стало как раз расплатой за то, что он, надо признать, не был ни консерватором, ни либералом, не стремился стать ни западником, ни славянофилом. Он был тем самым гением с тонким чувством исторического бытия, который, не имея желания примкнуть к какому-то одному лагерю, исходил из непризнания права на революцию. Ни для кого. Ни для царя Петра I. Ни для друзей-декабристов. Ни для тех, кто под разными флагами и лозунгами шёл им на смену.

Пушкин оказался, можно сказать, “последним из могикан”, кто верил в то, что духовная ценность художественной литературы основана на независимости и чувстве чести, храбрости и благородстве, носителями которых являлись русские писатели-дворяне. “Нужны ли они (эти качества. – **А. Р.**) в народе так же, например, как трудолюбие? – спрашивал он, и сам же отвечал: – Нужны, ибо они *sauve garde** трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества”.

Характерно, что ценность старинного родового дворянства всегда рассматривалась Пушкиным с точки зрения общегосударственного и культурного интереса. При этом он резко отвергал все эгоистические сословные притязания дворян. Единственной привилегией, по мысли Пушкина, должна была оставаться наследственность дворянства, которая служила гарантией его независимости, тогда как “противоположное есть необходимое средство тирании, или, точнее, бесчестного и развращающего деспотизма”, считал он.

В этой связи главным политическим условием нормальной государственно-общественной жизни им выдвигалось общее требование прочного правопорядка. Сегодня кому-то кажется странным, но Пушкин, вечно вынужденный отражать нападки цензоров (среди которых первым был Николай I), тем не менее обосновывал даже правомерность цензуры. Правда, при этом он подчёркивал необходимость, чтобы “устав”, которым цензура руководствуется, был не только “священ и непреложен”, но ещё и, говоря современным языком, прозрачен.

Пушкин, по сути, требовал ясного и чёткого разграничения цензурного контроля от эстетической и моральной опеки. “Эк куда хватил! Ещё умный человек!” – сказал бы по этому поводу гоголевский Городничий, уверенный, что и спустя 100 лет решение проблемы немногим сдвинется с места. Надо понимать, генерал-губернатор не зря направил в столицу представление на должность именно его, Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского, а там Сенат назначил его главой уездного города. Что-что, а он прекрасно понимал, что в России не просто “горе от ума”, а смертельно опасно родиться с душой и талантом.

С момента появления Пушкина “свободно, под надзором” в Москве можно заметить, что в его жизни *бывали странные сближения*. Чем внимательнее их рассматриваешь, тем больше многое кажется удивительным. Впечатляет, например, факт – явно неординарный и потому вызывающий недоумение, – что в первый же рабочий день после венчания на царство от нового императора Николая Павловича Романова следует распоряжение: “Пушкина призвать сюда”. Что, других, более важных забот нет? Выходит, своё царствие Николай I начинает с Пушкина. Дело случая? Или продуманный, чем-то обусловленный, может, даже вынужденный шаг?

Пушкинские современники, литературные ретрограды, называли отвратительными поэмы молодого автора, содержащие просторечия и фольклорные элементы. Позже стали говорить, что дерзкий Пушкин посмел невероятно расширить лексикон. В пору моей молодости звучало, что Пушкин был реформатором русской литературы и русского языка. Сегодня я смею думать, что ни о каких реформах, будь то литературы или языка, он не помышлял. Революции и в этой области он не желал. Писал, как думал. Думал играючи. Любил играть словами, не почитал за грех включать в игру и европейские слова. При этом оставался самим собой: отстаивая народность литературного

* *sauve garde* – охрана (фр.).

языка, Пушкин избегал, что было для него естественно, крайностей. Его противники полагали, что это они с разных сторон “клюют” Пушкина, и надеялись его “заклевать”. А он не в шутку, а всерьёз боролся как против карамзинского “нового слога”, так и против “славянщины” Шишкова и его сторонников:

“Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали”.

“Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности”.

И русский язык сделал свой выбор – он отдал предпочтение Пушкину, пошёл следом за ним.

Какого из *странных сближений* ни коснись, в каждом всё сходится – и вокруг факта самой гибели Пушкина, и вокруг последних дней его жизни, и вокруг трактовок его судьбы последующими поколениями. Вера, как известно, важнее правды. Особенно в ситуации, когда правда противоречит тому, что мы принимаем на веру. Трудно отделаться от мысли, что будь нам доподлинно известно, каковы реальные причины (или причина) ухода Пушкина из жизни, кто автор “Диплома Ордена рогоносцев”, почему поединок на Чёрной речке сопровождала целая цепь случайностей (и случайностей ли?), мы могли бы...

Что мы могли бы? Лучше понять Гения? Вмешаться? Что-то исправить? Не допустить? А он сам хотел этого? Не уверен. Но мы всё же пытаемся...

Ничего нам не объяснив, Пушкин сделал свой выбор. А мы всевозможными гипотезами и версиями, путём интерпретации косвенных данных, а то и просто придумками (потому что данных нет) хотим нарушить его последнюю волю. Причём зачастую автор какой-нибудь новой гипотезы выдаёт её за непреложный факт. И почти всегда при этом мы имеем дело с идеологизированным подходом. Сколько раз я сталкивался с тем, что, вбрасывая только одну возможную интерпретацию, автор подаёт её не как предположение, а как якобы “доказанный” факт. Однако про все иные версии “забывает”, других как будто и нет. О том, насколько это ненаучный подход, и говорить не хочется.

Гипотез, связанных со смертью Пушкина, масса. Какая из них более правдива? Понять это уже невозможно: информация о дуэли и причинах, приведших к ней, уже давно “функционирует” по правилам современных информационных сетей, когда десятки мнений и свидетельств опровергают друг друга. Одно бесспорно: что гибель Поэта по сию пору является живой болью для большинства россиян.

Так случилось – после гибели поэта очень быстро заговорили о том, что внешние условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми. Что вражда светской и литературной среды к Пушкину преувеличена. Что не Уваров, Бенкендорф, Кукольник и Булгарин представляли свет. Что едва ли был когда-нибудь в России писатель, окружённый таким блестящим и многочисленным кругом верных друзей, людей из его среды, понимающих и сочувствующих. Ведь находились рядом с ним Виельгорские, Вяземские, Жуковский, Гоголь, Баратынский, Плетнёв. Было ли так на самом деле? Увы, нет! Можно предположить, что окружение Пушкина после его смерти предполо, чтобы о них говорили только хорошее.

Живут по сей день ещё два взаимоисключающих мифа: один – о прекрасной любви великого поэта к красавице; другой – о муках Поэта, жена которого не вынесла тяжести повседневности жизни с Гением. А в действительности случилась странная история: внешне семейная коллизия – вроде про любовь, а любви-то и нет как будто, одни деньги, долги да пустые хлопоты, мешающие Гению заниматься делом, предназначенным судьбой. И одновременно роман века, как я назвал для себя семейную историю Пушкина и Натальи, а сам Александр Сергеевич счёл возможным обозначить тремя словами “Проклятая штука счастье!...”

Наверно, нелишне будет отметить, что понятия о добре и зле у разных людей имеют довольно пёстрый характер. Соответственно, столь же противоречивы мифы, высвечивающие то или иное отношение к людям и событиям. К примеру, история показывает, что на протяжении веков всё, что полезно для России, будь то наведение порядка внутри государства или отстаивание интересов нашей державы на мировой арене, одними постоянно осуждается, как не следующее неким нормам; другими, наоборот, восхваляется, иной раз безмерно, как деяние, устремлённое к идеалу.

Один из самых жёстких мифов о Пушкине тяготеет к мысли, что в 1831 году Пушкин отходит от прежних друзей и единомышленников. Хотя справедливее было бы сказать, что не Пушкин отходил, а от Пушкина отходили “прежние друзья”, которые сочли, что поэт перестал быть выразителем того, что почитается европейскими ценностями. По сей день можно слышать упреки, что вслед за женой он тогда стал стремиться жить светской жизнью, а свет диктовал свои условия. Мол, платой за связи, протекцию, частые контакты с высшей знатью, министрами и самой царской фамилией оказалось его приспособление к их образу мыслей. Отсюда-де возник другой Пушкин, то и дело обращающийся к Бенкендорфу и жаждущий доказать свою лояльность.

Ещё бы! “Друзей” шокировало появление стихотворений “Клеветникам России” и “Бородинская годовщина”, поводом для создания которых стали призывы ряда депутатов французского парламента к вмешательству в военные действия на стороне польских повстанцев против русской армии и известие о взятии ею Варшавы.

Дошло до того, что Долли Фикельмон перестала с Пушкиным здороваться. Неприязненно воспринял “Клеветникам России” и А. И. Тургенев. А огорчённый этими стихами Вяземский, сразу охладевший к поэту, пишет Хитрово: “Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи совсем не европейского свойства...” Он тогда даже занёс в свою записную книжку горькие для него размышления о неминуемых последствиях от таких стихов Пушкина:

*“За что **возрождающейся Европе** любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. **Народные витии**, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим”.*

Если не знать, что строки эти написаны 22 сентября 1831 года, можно предположить, что дата их рождения – осень 2019-го. Это к вопросу о том, что (как заметил в стихотворении “Опытная Соломонова мудрость, или Выбранные мысли из Екклесиаста” (1797) Николай Михайлович Карамзин) “ничто не ново под луною: // Что есть, то было, будет ввек”. И ещё о том, что предвставить и понять атмосферу того времени нам не так уж и трудно.

Переключка времён вовсе не притянута здесь за уши. Во всяком случае, политические аллюзии донельзя очевидны. Прозорливее многих “русских европейцев”, обвинявших Пушкина в отсталости, оказался Чаадаев, когда писал поэту в непростую для того минуту:

“Мой друг, никогда ещё вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы – национальный поэт; вы угадали, наконец, своё призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. <...> Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нём больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране”.

Стихотворение “Клеветникам России”, действительно, было благосклонно встречено Николаем I. Но у Пушкина тогда возникло не только желание напроситься в дворники дома Петра Великого в нидерландском Саардаме. У него мелькнула иллюзорная мысль о возможности оказать влияние на правительство. Подумалось о заманчивой возможности соединить мощь власти и неподкупность слова честных русских литераторов. Каким образом? Через Бенкендорфа Пушкин обратился к Николаю I с просьбой разрешить ему издание официальной политической газеты. И вроде бы к проекту Пушкина проявили интерес. Но кто и каким образом? Разрешение было дано, но среди поддержавших идею оказались вчерашние арзамасцы Блудов и Уваров, сотрудничать с которыми Пушкин желания не имел. И он остыл к своему замыслу. А затем и вовсе от него отказался.

Мысль, что наша цель – “быть европейцами”, она ведь не сегодня родилась. И даже не в пушкинскую эпоху. Но уже тогда инакомыслящие вынуждены были выслушивать не только обвинения в нежелании мерить всё по эталонной европейской мерке (ведь в Европе всецело властвуют передовые идеи), но и сопутствующие требования предать забвению собственную историю и традиции своего народа.

В дни горячих “споров” не с одним князем Вяземским Пушкин дал жёсткий поэтический ответ всем, кто Европу любит больше, нежели Россию, потому что она им не по вкусу. Эти строки не увидели света при жизни поэта. Черновик стихотворения был опубликован (под заглавием “Полонофил”) лишь в 1903 году в виде, требовавшем реконструкции. Эту работу проделал много позже С. М. Бонди. И в окончательном виде оно было напечатано лишь в 1987 году (в угловых скобках помещены слова, реконструированные С. М. Бонди):

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды <чистый> лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.*

*Когда безмолвная Варшава поднялась,
<И ярым> бунтом <опьянела>,
И смертная борьба <меж нами> началась
При клике: “Польшка не згинела!” —*

*Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда <разбитые полки> бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.*

*<Когда ж> Варшавы бунт <раздавленный лежал>
<Во прахе, пламени и> в дыме,
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.*

Стихи более чем убедительно доказывают, что примирение русскости с западным “просвещением” в ущерб русскости (на чём настаивали доморощенные европейцы, без пяти минут интеллигенты, обвинявшие поэта в отсталости) было для Пушкина невозможно.

В сегодняшних терминах подобная эволюция взглядов заслужила бы тираду, мол, от либерализма, характерного для поэта в молодые годы, он возвратился в сторону глубокого осознания традиционных моральных ценностей. И это стало, надо признать, ещё одной причиной среди прочих, по которым он вышел на свою последнюю дуэль. Потому что утверждать, будто дуэлью Пушкин пытался оградить жену от жизненных невзгод, защитить оскорблённую честь большого ребёнка, имеющего, меж тем, уже четверых детей, значит, самим спускаться на “детский уровень”.

В 1900 году было опубликовано письмо поэта и философа, основоположника раннего славянофильства А. С. Хомякова к Н. М. Языкову, написанное 1 февраля 1837 года, всего через 5 дней после выстрелов на Чёрной речке, то есть тогда, когда пушкинская трагедия была горяча и требовала от каждого безразличного своего осмысления. Оно увидело свет почти на 10 лет раньше, чем Борис Модзалевский всерьёз заговорил на эту тему. Но времена после гибели Пушкина изменились, и суждения обоих уже как-то не вписывались (да и сейчас они традиционно воспринимаются многими неодобрительно) в картину приторного умиления от одного имени поэта:

“Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему очень хотелось рискнуть жизнью, чтоб разом от неё отделаться или её возобновить. Его Петербург замутил всякими мерзостями; сам же он себя чувствовал униженным и не имел ни довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним помириться”.

Бесспорно, гибель Поэта в этой внешне семейной коллизии, — вывод, какой прозвучит много позже, — была в полном смысле слова исторической трагедией. Но прежде, подчеркну, это была величайшая личностная трагедия Поэта, который “в плоть одел слово “Человек””. Поэта, который ушёл *недолюбив, не дописав...*

Понятие “миф” не всегда имело уничижительный оттенок, обозначая необоснованное утверждение, лишённое опоры на надёжное доказательство. Если исходить из того, что главное в мифе — это всё же содержание, а не соответствие историческим свидетельствам, то пусть не основным, но важным в нём будет отправная точка, которая способна стать началом повествования

на ту или иную тему. В этом смысле миф по смыслу близок тому, что мы называем гипотезой.

Самая большая мифическая смута происходит непосредственно вокруг дуэли. Основная масса мифов рождена тем, что многое в тот день по непонятным причинам, как говорится, пошло не так и сопровождалось необъяснимыми странностями.

Странно, что виновным в смерти поэта вот уже сколько времени признаётся Дантес-Геккерен-младший, тогда как известно, что, получив от Пушкина оскорбительное письмо, оба Геккерена бросились за советом к старому графу Строганову, и тот уверил их, что в такой ситуации нужно стреляться. После чего не Пушкин вызвал Дантеса, а Дантес вызвал на дуэль Пушкина. Приходится признать, что этот факт остаётся необъяснимым, если мы будем оставаться при мнении, что причиной трагедии была ревность Пушкина. Если бы гнев Пушкина был адресован Дантесу, вызов был бы послан непосредственно ему, как это и произошло в ноябре.

Но всё это время проявлений ревности или недовольства по отношению к жене в Пушкине не наблюдалось. Могло ли такое быть, если бы речь шла о ревности к Дантесу? Ничуть. Но если причиной было поведение царя – ситуация видится принципиально иной.

Кое-кто считает странным, что секундант Пушкина, Данзас, ничего не сделал для примирения противников, больше того, не предотвратил убийство Пушкина, хотя мог донести о дуэли властям, но не сделал и этого. Да, Константин Данзас был всего лишь лицейским приятелем, но вовсе не близким другом Пушкина. Что касается примирения, то, согласившись быть секундантом, он следовал указаниям Пушкина и дотошно разрабатывал с секундантом противной стороны д'Аршиаком условия *“смертельной дуэли”*. Упрекать его в этом не приходится. Довольно неуклюжий на вид, он в Лицее имел прозвище *“Медведь”*, в том числе за то, что с равнодушием относился ко всему происходящему вокруг. Доносить же о дуэли для боевого офицера было неприемлемо. А вот пострадать за недоносительство, наоборот, было нормой.

Странно другое: он, вопреки дуэльным правилам, почему-то не озаботился присутствием на месте врача и кареты (раненого поэта пришлось увозить в экипаже Дантеса-Геккерена). Странно, что сходясь противники начали по сигналу, данному Данзасом, – он махнул шляпой, – тогда как следовало считать до трёх, после чего уже должны были последовать выстрелы.

Странно, что Дантес выстрелил, не дойдя до барьера (брошенной на снег шинели), тогда как было условлено, что противники должны стрелять одновременно.

Странно, что, договорившись об условиях *“смертельной дуэли”*, секунданты зарядили пистолеты меньшим количеством пороха в надежде, что так полученные ранения окажутся лёгкими, тогда как при реконструкции дуэли Пушкина и Дантеса учёным удалось установить, что именно это стало причиной смертельного ранения. Если бы заряд пистолетов был обычным, то пуля, застрявшая в животе у Пушкина, прошла бы навывлет, не причинив смертельного вреда. А вот ранение Дантеса от срикошетившей пули закончилось бы летальным исходом.

Станным кажется назначение умирающему Пушкину пиявок, только усилившее кровопотерю и анемию. И это в ситуации, когда у его постели (точнее, у дивана) собрался, как в таких случаях говорят, цвет медицины – начиная с лейб-медика Арендта, ранее поставившего неверный диагноз заболевшему Дельвигу. Казалось бы, доктор, который имел громадную практику в городе, поскольку был опытейшим хирургом (со слов современников, он был *“баснословно счастливым оператором”*), не предпринял попытку извлечь пулю, что тогда уже умели делать. Вместо этого Николай Фёдорович предпочёл стать посредником между раненым Пушкиным и царём.

Есть мнение, что именно слова Арендта убили в Пушкине-пациенте волю к жизни, когда он прямолинейно высказался: *“Я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды”*. Нельзя исключать, что Александр Сергеевич хотел услышать другой ответ. Но после этих слов он предпринял попытку самоубийства. Собравшиеся вокруг умирающего позже восторгались мужеством, с каким Пушкин переносил жуткие боли, а он как раз и не желал их терпеть.

Впрочем, и современные медики расходятся во мнениях, можно ли было спасти его даже в наши дни. Многие специалисты сходятся на том, что ранение было безнадежным, и в результате поэт умер от сепсиса, вызванного перитонитом.

О том, что при вскрытии тела Пушкина пулю не извлекали, известно по утверждению Владимира Даля. Странно, что возможность сейчас найти её и точно определить, из какого оружия стреляли и смертельно ранили поэта, а следовательно, и кто стрелял, другими словами, верно ли предположение, что стрелял снайпер из ружья (такая гипотеза высказывалась неоднократно), никого не интересует. А ведь, исходя из траектории пули, напрашивается вывод: она пришла не со стороны Дантеса, а сбоку, следовательно, выстрел был произведён кем-то третьим, и не из пистолета. Судя по всему, снайпер стрелял из стоявшего неподалёку сарая.

Слышатся голоса, что вскрывать могилу кощунственно. Но мы знаем о вскрытых могилах Ивана Грозного, Тамерлана, а в Европе извлечены из могил и изучены останки Рафаэля, Петрарки, Данте, Шиллера.

Со времён Пушкина прошло уже столько десятилетий, что они начали складываться в века. И надо признать: мало что изменилось. Вряд ли получится досказать, доказать, докопаться до многого из того, что тогда было в реальности, о чём лишь вскользь и бегло упоминали современники поэта. Даже зная больше, они зачастую говорили и записывали куда меньше. Одни лакуны были продиктованы цензурой, другие – недостатком понимания происходящего, кто-то умалчивал или смягчал, кто-то врал, желая ввести в заблуждение, кто-то из своих соображений цедил сквозь зубы, потому что не питал симпатий.

Была ещё одна причина для пробелов в оценках и просеивания фактов. Она и по сию пору имеет место в работах о Пушкине. Я даже не имею в виду политическую составляющую, изменчивую даму, в разные времена примеряющую шляпки разнообразных фасонов. Но нельзя отрицать, что всегда писалось и говорилось с оглядкой на общественное мнение, с учётом, что на тебя может обрушиться общественное негодование. “Недопустимая откровенность” никогда не приветствуется – так уж устроено человеческое сообщество.

Каждого, забывшего об этом, подстерегает возмущение, в лучшем случае – тихое, а нередко и агрессивное. Причём не только в сторону переступившего порог “разрешённого”, но и в адрес того, о ком были его слова. Не сделать хуже, не нанести вред памяти великого поэта – мотив не из последних, который многими знавшими и окружавшими Пушкина принимался в расчёт, когда они брались за воспоминания о нём. Самый простой и очевидный пример – знаменитые “Записки о Пушкине” лицейского одноклассника и преданного его друга Ивана Ивановича Пущина.

В 1855 году пророческое письмо о вынужденном замалчивании, об “умышленных непрочтениях” (как текстов поэта, так и страниц его биографии) адресовал современникам и потомкам один из ближайших друзей поэта С. А. Соболевский:

*“Публика, как всякое большинство, глупа и не помнит, что и в солнце есть пятна; поэтому не напишет об покойном никто из друзей его, зная, что если выскажет правду, то будут его укорять в недружелюбии из всякого верного и совестливого словечка. <...> Итак, чтобы не пересказать лишнего или не досказать нужного – каждый друг Пушкина должен молчать. По этой-то причине пусть пишут об нём **не знавшие** его <...> то есть мало касаясь его личности и говоря об ней только то, что поясняет его литературную деятельность”.*

Написанные почти через два десятка лет после гибели Пушкина слова Сергея Александровича удивительным образом стали сбываться ещё в тот момент, когда поэт лежал на смертном одре в своём рабочем кабинете в доме на набережной Мойки, 12.

Теперь мы знаем: роковой выстрел за Чёрной речкой, отняв у России 37-летнего Пушкина, лишил её не комплексующего грешника с бешеными страстями, который пил, курил, постоянно волочился за женщинами, богохульствовал, был азартным игроком, а божественного Пророка. Пророка не придворного, а общенародного.

Повторю: он хотел от жизни не славы, не почестей, а совсем уж чего-то нереального, слишком многого: права на спокойствие и свободу, на творческий простор. Хотя, почему “слишком”? Для его гения это было в самый раз. Не вышло – ишь чего возжелал!

Однако и в часы душевной тяготы, когда наваливался страх смерти, и в часы просветления Муза к нему являлась. Он с благодарностью принимал её в любом состоянии.

Но одно он понял только на смертном ложе: умирать оказалось не страшно, жить в последние годы было куда страшней.